

Юрий Слепухин

ПАНТОКРАТОР

Повесть

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Юрий Слепухин

Пантократор

«Автор»

1989

Слепухин Ю.

Пантократор / Ю. Слепухин — «Автор», 1989

В небольшом по объему произведении автор, обратившись к личности Сталина, предпринял попытку объяснить некоторые аспекты его внутренней политики, до сих пор не имеющие логического объяснения. Согласно гипотезе автора, к концу 20-х годов Сталин глубоко разочаровался в социализме и стал добиваться абсолютного контроля над партией прежде всего для того, чтобы ее разгромить. Главной целью Сталина, его «великим планом» стало покончить с марксизмом как теорией построения государства нового типа, показав всему миру, во что превратится такое государство — гибрид концлагеря и казармы... Содержит нецензурную брань.

© Слепухин Ю., 1989

© Автор, 1989

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

19

Юрий Слепухин Пантократор

Уже подойдя к автомобилю, он вдруг против обыкновения помедлил и остановился. В свите тоже застыли, от неожиданности наталкиваясь друг на друга; генерал с бычьим затылком – начальник личной охраны – весь сжался, холодея в испуге и преданности, ничего еще не успев сообразить, но уже убежденный в каком-то роковом значении этой внезапной и непредусмотренной заминки, готовый ринуться, заслонить Хозяина своим телом – как уже сделал однажды, когда возле Боровицких ворот (в самую последнюю минуту, лимузины уже шли на выход!) справа, из-за Манежа, неведомо как миновав оцепление, выкатилась какая-то шальная «эмка» – и он, тогда еще простой лейтенант внутренних войск, не задумываясь, бросился под колеса – остановить гада, не дать выехать на запретную полосу...

А тот, за кого готов вторично рискнуть жизнью начальник охраны – точно так же, как готовы были умереть и уже умерли многие миллионы других людей, – он остановился просто потому, что ему захотелось подышать свежим воздухом, проветрить легкие после душноватого кабинета. Здесь, снаружи, хорошо пахло дождем и мокрой сиренью, и свежей землей от газона, где изумрудно зеленела трава в свете ярких фонарей, еще не совсем привычных после четырех лет затемнения.

Был уже поздний вечер, подсвеченное городскими огнями небо потускнело – Москва отходила ко сну. Жаль, что погода выдалась ненастной; он вспомнил начало этого долгого и утомительного дня – как, колебля шеренги штыков и касок, под гремящее «Славься» проходили по площади сводные полки фронтов, как глухо и грозно рокотали барабаны и на мокрую лоснящуюся брусчатку падали германские знамена – пестрые клочья цветной парчи и шелка, тусклое золотое шитье, гербы и эмблемы и колючая готика чужих девизов, лакированные древки, перевитые шнурами, окованные в серебро, увенчанные лавровыми венками и распростертыми орлиными крыльями, – десятки и десятки фашистских знамен, числом ровно двести, ложились к его ногам кучей разноцветного тряпья, а барабаны грохотали безостановочно и зловеще – как в старину при публичных казнях...

Он усмехнулся, подумав о том, что четыре года назад некий господин Гитлер собирался устроить на этой площади свой «парад победы». Удивительно все-таки несерьезный был человек. Почему его так боялись? Шавка, возомнившая себя львом, баран в барсовой шкуре. Удивительно.

Пряча в усы недобрую усмешку, он шагнул к машине. Некто безликий, стремительно возникнув сбоку, рванул настежь заднюю дверцу, замер навтыжку; неловко нагибаясь, держа перед собой полусогнутую левую руку, он по-стариковски полез внутрь, где привычно пахло кожей и хорошим табаком. Застекленная зеленоватым пуленепробиваемым триплексом, со скрытой под черным зеркальным лаком танковой броней, дверца захлопнулась за ним мягко и плотно, точно дверь сейфа, коротко фукнув вытесняемым воздухом. Он вытянул ноги, откидываясь в податливые сафьяновые подушки, и шеститонный лимузин бесшумно тронулся с места.

Дома было хорошо, тихо. И – главное – безлюдно. Безлюдность эта, конечно, была только кажущейся, людей в доме хватало – обслуга, охрана. И в доме, и вокруг. Но они не были видны, они сидели тихо, не подавали признаков жизни. Это было хорошо. Он не любил видеть вокруг себя людей. Новых лиц, непривычных, вообще не переносил; но и привычные были в тягость. Собственно, поэтому он и предпочитал своей кремлевской квартире этот тихий деревянный дом, надежно упрятанный в дебрях подмосковных лесов. В глуши, в безлюдье.

На людях он чувствовал себя как-то... беспокойно. Не то чтобы боялся, нет. Наверное, нет. Нельзя всерьез бояться тех, кого презираешь; а всех тех, с кем ему приходилось общаться, он презирал глубоко и убежденно. И не только их. Других, – с кем не общался и кого не видел, – тоже презирал. Так что дело было не в боязни.

Видеть вокруг себя людей ему было неприятно точно так же, как неприятно бывает в комнате, где много тараканов. Кто боится тараканов? Смешно. Никто не боится, а все равно неприятно. Бегают, шуршат. Зачем? Зачем ему видеть вокруг себя этих... людей?

А ведь когда-то – очень, очень давно – он был скорее общительным человеком, любил шумное общество. Застолья любил, особенно если с хорошим тамадой. За столом можно узнать много полезного, нужного для себя. Ему тогда многое было нужно – предстояла борьба, долгая и упорная, и те, кто противостоял ему тогда, кого следовало сокрушить, были действительно умными и потому опасными людьми. Не чета этим, нынешним.

Потом, в ходе этой долгой и упорной борьбы, умных людей не осталось больше. Иногда прямо жаль, если вспомнить. Осталось одно говно. С кем теперь интересно посидеть за столом? Нету таких. Но нет худа без добра, как говорит русский народ; умные люди исчезали, а его личная власть набирала силу. Такая вот интересная обнаружилась зависимость: чем меньше вокруг умных людей, тем крепче власть. У нее отросли крылья, могучие крылья горного орла, и они возносили его все выше и выше – как-то незаметно, постепенно, виток за витком. По восходящей спирали. Если посмотреть оттуда в долину, что увидишь? Людей? Нет, людей не увидишь, увидишь – тараканов.

Есть высоты, на которых уже просто невозможно не быть одиноким. Не получается! Уже двенадцать лет – с тех пор, как погибла жена, – он был одинок даже в своей семье, со своими детьми. Старший сын, погибший в плену (да будет ему земля пухом), вообще рос чужим.

Женился на какой-то одесситке, носил другую фамилию – ту, настоящую, – словно подчеркивая, что не имеет с отцом ничего общего, кроме уз крови. Даже на фронт ушел простым лейтенантом, а потом попал в плен. Месяца не провоевал, и уже пленный! Немцы в листовках писали, что добровольно сдал свою батарею; могли и врать, конечно, но как узнаешь? Так или иначе, а в плен попал. Может, и это было своего рода протестом: знал ведь, что еще в финскую войну отец приказал считать изменником Родины каждого, кто живым попадет в плен...

Да, с сыновьями ему повезло, ничего не скажешь. Старший – изменник, младший оказался ничтожеством – пьяница, бабник, да и дурак к тому же. Учился, учился, курсы усовершенствования комсостава окончил, а что толку? Авиаполком еще кое-как командовал, а поставили на дивизию – не справился, овечий помет. Такую характеристику от командования получил, что читать стыдно. Дочь вроде была когда-то близким человеком – теперь замужем, тоже своей жизнью живет, отдалась, в глаза не смотрит при встречах. Не может, верно, простить той истории. А как, интересно, он должен был поступить – позволить семнадцатилетней дуре блудить с распутным наглым жидом? Правильно сделал, что надавал по физиономии. Еще мало надавал, выпороть надо было. А великий кинодеятель пускай теперь на лесоповале трудится, чтобы пыл остудить. Может, еще одного «Ленина в Октябре» там придумает.

Он лежал на жестковатом кожаном диване, где старая экономка каждый вечер стелила ему постель, в небольшой комнате, отделанной и обставленной с той же казенной простотой, что и все в этом доме. Простота не была нарочитой – он действительно был неприхотлив в еде, в одежде, во всем укладе быта. Не испытывал никакой потребности жить иначе. Когда-то, давно уже, согласился принять у себя дома глупого восторженного француза – автора нашумевшей книжонки об империалистической войне; в тот момент было политически целесообразно немножко приподнять завесу тайны, плотно окутывавшую все, касающееся личной жизни вождя первого в мире социалистического государства. Француз побывал у него в кремлевской квартире (той самой, где потом подлец Бухарчик поселился со своей красоткой, правда, ненадолго) и добросовестно описал все увиденное: четыре комнаты, обстановка самая

скромная, «как в приличной гостинице», простая солдатская шинель на вешалке. Еще такую деталь привел – у старшего сына нет своей комнаты, спит на диване в столовой...

Многие на Западе решили тогда, что это все было напоказ, этакая потемкинская деревня наоборот, а на самом деле он живет в царских покоях, кушает на золоте. Написал же кто-то, будто расходует на себя 250 миллионов в год. Идиоты! Где им было понять, что уже тогда он слишком высоко стоял над обычными людишками, чтобы разделять их представления об атрибутах могущества. Роскошь – зачем она ему? Зачем побрякушки человеку, имеющему в руках Власть?

Ему нравилось привычное однообразие во всем, что его окружало. Стены кремлевского кабинета были облицованы панелями светлого дуба, поэтому он велел так же отделать и эти комнаты – и спальню, и соседнюю, большую, где обычно работал до двух-трех часов ночи, разложив привезенные с собой бумаги на одном конце длинного стола. На другом конце экономка обычно накрывала к ужину, так было удобно – просто перейти с одного стула на другой. Письменного стола здесь не держал, достаточно просиживал за ним там, в Кремле.

Сейчас он лежал, слушал мертвую тишину в доме и с досадой думал о том, что заснуть удастся не скоро. Следовало бы принять снотворное, но он не любил лекарств, испытывал тайное к ним недоверие. Мало ли что могут подсунуть – каждую таблетку не проверишь. Ничего, бессонница сегодня в порядке вещей, все-таки день был знаменательный... Исторический, можно сказать, день.

Последнее время этих исторических дней было много. День, когда его войска ворвались в Берлин. И день, когда застрелился бесноватый господин Гитлер. И день капитуляции, наконец! Но все-таки сегодняшний – день Парада Победы – был совсем особенным. Словно поставили точку, подвели итоговую черту...

Он прикрыл глаза и снова увидел груды мокнущих под дождем знамен, услышал мрачный, глухой рокот барабанов. Давно отвыкший от обычных человеческих чувств, он все же испытал сегодня большое волнение, глядя на брошенные к его ногам штандарты вражеских полков, не так давно победно проревевшие над всей Европой. Даже тогда, девятого мая, когда на его стол положили доставленный из Берлина акт безоговорочной капитуляции, – даже тогда, брезгливо разглядывая колючие подписи битых фашистских вояк, не испытал он такого волнения, как сегодня.

Но странно: в этом волнении не было радости. Злорадство, – пожалуй; немножко мелкое, немножко недостойное его злорадство. Он должен был бы оказаться выше этого, должен был бы испытывать совсем другое – спокойную гордость победителя, удовлетворение, наконец, просто радость. В том-то и беда, однако, что он давно уже не мог испытывать ни радости, ни гордости, ни удовлетворения. Разучился? Да, наверное, разучился.

И, наверное, это закономерно, иначе просто не могло быть. Пресыщение достигнутым, вот как это называется. А достиг он многого. Еще ни один властитель за всю обозримую историю человечества не достигал столького в политическом плане. Создатели великих империй прошлого, как правило, слабо разбирались в политике, хотя политика как наука существовала уже при фараонах, и основные ее принципы были уже тогда понятны и доступны кому угодно. Принципы были известны, но не применялись с должной последовательностью, вот почему все эти «великие» империи и развалились с такой легкостью, с какой возникали. Единственным толковым правителем мог бы стать Макиавелли – но, как говорится, бодливой корове Бог рогов не дал...

В русской истории и подавно не было по-настоящему великих правителей. Он приказал объявить таковыми Ивана Грозного и Петра, но только из политических соображений. Не потому, что действительно считал их великими. Какие там «великие»! Один – просто садист, бесноватый, подстать господину Гитлеру. У другого хватало энергии, но не хватало ума, спо-

собности предвидеть последствия сделанного. После одного – смутное время, гольштинский бардак – после другого; хороши правители, ничего не скажешь. Строили, забыв про фундамент.

Пожалуй, неглупым человеком был Ленин. Хотя его заслуги в целом сильно преувеличены, и здесь когда-нибудь придется внести ясность, восстановить историческую истину. Глубоко заблуждаются некоторые товарищи, полагая, будто Ленин свалил империю Романовых, осуществил великую революцию. Империя упала сама – сгнила и упала, точно перезрелый плод инжира, а революции в России вообще не было. Что такое революция? Это когда народ восстает и силой захватывает власть. Но в семнадцатом году власть в России вовсе не надо было захватывать силой, власть валялась на земле, в грязи. Пожалуйста, подходи любой, бери! Сперва подобрал болтливый господин Керенский, а потом эту бесхозную власть забрали мы – когда господин Керенский наигрался в демократию. Так что, если уж быть исторически точным, Ленин свалил не Романовых. Ленин свалил разных там гучковых-милюковых, это все-таки немножко другое дело. Немножко другой масштаб.

...Почему это он вдруг вспомнил сегодня Ленина? Обычно избегал думать о человеке, не желавшем видеть его на посту генерального секретаря партии, и не любил, когда вспоминали другие – в его присутствии. Почему же сегодня... а, да, – думал о правителях прошлого. Нет, настоящих не было. Первым, всерьез достойным этого определения, – истинным правителем, Правителем с большой буквы, – стал он сам. Он осознал это давно, и понимание своей роли не наполняло его гордостью и не давало радости; объективно и хладнокровно создавал он себя тем, кем был: величайшим Правителем в истории человечества, первым, сумевшим воплотить в жизнь идею абсолютной, ничем не ограниченной Власти. Но что это ему дало?

Когда-то – очень, очень давно, – он мечтал о власти. Сгорал от этой мечты. Так юноша, еще не познавший женщины, мечтает о первом обладании – но первое обладание женщиной всегда разочаровывает. И умного человека не может не разочаровать обладание властью. К сожалению, поздно это понимаешь. Слишком поздно.

Проклятье, так сегодня и не заснуть... Он сбросил ноги на пол, сел, нашаривая ступней чужаки. Протянув руку, безошибочно нашел кнопку выключателя на ночном столике – был уже второй час. Вышел в соседнюю комнату, включил свет и там. Хотелось пить, он взял с буфета прикрытый бумажкой стеклянный кувшин с холодным отваром каких-то ягод и трав, приготовляемым экономкой, и жадно напился прямо через край. Поставил кувшин на место, аккуратно прикрыл той же бумажкой и прошелся по комнате, беззвучно ступая по толстому ковру. Хорошие ковры были единственным видом роскоши, не вызывавшим в нем раздражения. Прохаживаясь, рассеянно посматривал на вырезанные из «Огонька» цветные репродукции, тут и там прикрепленные кнопками к панелям. Картинами он никогда не интересовался, к живописи был равнодушен, но понравившиеся репродукции иногда собственноручно вырезал и вешал на стену. Просто так – без стекла, без рамки.

Задержавшись возле широкого окна, он отвел в сторону белую шелковую, присобранную фестонами штору – такую же, какие висели в его кремлевском кабинете. За толстым зеркальным стеклом было темно и тихо, дождь перестал, электрическое зарево на востоке совсем потускнело и едва угадывалось над черными кронами яблонь. Москва давно спала – «Четвертый Рим», столица великой большевистской империи, отпраздновавшая сегодня его триумф. Пока только военный, не все сразу...

Потом – не скоро – будет и политический. Не скоро, но это от него не уйдет, теперь уже можно быть уверенным. Он сам главного своего триумфа (надо надеяться!) не увидит, тем более приятно сознавать, что успех главного дела жизни обеспечен. Достигнутая власть, конечно, в чем-то неизбежно разочаровывает, не дает всего, что когда-то от нее ожидал; однако не стоит впадать и в другую крайность. Если власть дает возможность осуществить все, что было задумано, это уже немало. Так что жаловаться ему грех. Того, что сумел осуществить он, не удавалось осуществить еще никому.

Ни один правитель до него не мог создать государственную систему, полностью застрахованную от внутренних потрясений. Таких систем просто не было. Никогда и нигде. Правителей, державших подданных в железной узде, история знает множество; любая власть спокон веку стремилась к тому, чтобы укрепиться, отсюда и жестокие правители. Сколько угодно было жестоких. Многие из них рано или поздно теряли власть, оказавшись недостаточно сильными, но были и сумевшие удержать власть до конца. И все-таки ни один из них не мог считать себя полностью застрахованным от разного рода осложнений внутриполитического порядка.

Мало быть жестоким правителем, это любой дурак сумеет. Чтобы чувствовать себя в безопасности – в полной, стопроцентно гарантированной безопасности – надо быть еще и умным правителем.

...Он сидел за длинным пустым столом – устало сгорбившийся старик в раскрытой на груди белой ночной сорочке, с толстыми усами на слегка отечном, рябом от оспы лице и рыжеватыми волосами, словно перхотью густо пересыпанными сединой. Маленький, невзрачный, совсем не похожий на свои портреты. Только трубка, которую он сейчас машинально взял со стола, – небольшая, с удобно изогнутым чубуком, – придавала ему некоторое сходство с известным всему миру канонизированным обликом. Таким же машинальным движением другая рука придвинула плоскую коричневую жестянку «Явы», толстые пальцы отколупнули крышку, разворошили хрусткую серебряную фольгу. Запахло сладко, медово. Он обычно предпочитал более крепкий папиросный табак, но иногда дома, для разнообразия, курил этот, – специальный трубочный. Не спеша брал щепотки крупно нарезанных, чуть влажновато-клейких золотистых волокон, аккуратно уминал в трубке, тянулся за новой порцией. Привычное занятие, как всегда, успокаивало.

Набив трубку, он стал раскуривать ее, плавными круговыми движениями водя отгибающийся вниз огонек над ровной поверхностью плотно примятого табака; бросив догоревшую спичку, прикрыл чашечку трубки большим пальцем и неглубоко затянулся пряным сладковатым дымом. Он вообще не был завзятым курильщиком, трубка служила скорее игрушкой – иногда очень полезной. При каком-нибудь важном разговоре – хотя бы вот с этими иностранцами, разными гопкинсами и гарриманами, которых немало перебивало в Кремле за последние три года, – возня с трубкой давала возможность помедлить с ответом, хорошо его обдумать...

Теперь с этими визитами, слава Богу, покончено. И хорошо, что покончено. Неприятно было сознавать свою зависимость от этих господ. А зависимость была; из песни, как говорят, слова не выкинешь. Поэтому и приходилось принимать этих людей, беседовать с ними как с равными. Правда, еще одной встречи не избежать –

через три недели предстоит поездка в Берлин. Чего-то они там не поладили со сроками, союзнички. Черчиллю не терпится начать конференцию как можно раньше, у него выборы на носу, а Трумэн уперся – как предложил сразу дату 15 июля, так на том и стоит. Выжидает, ясно, но чего именно? Результатов выборов в Англии? Нет, это его особо интересовать не может, тут что-то другое...

Да, день сегодня был утомительный, все-таки он переволновался. Хотя, собственно, чего было волноваться из-за этого парада? К мысли о том, что война выиграна, он привыкал исподволь, постепенно, еще со времен Сталинграда. После Курска появилась уверенность, дальше беспокоиться было не о чем. Начиная с осени прошлого года, когда завершилась операция «Багратион», ежедневные доклады начальника Оперативного управления Генштаба уже не представляли особого интереса. Все шло как надо, с Германией было покончено.

А когда, конкретно, факт ее разгрома будет зафиксирован соответствующими документами, не имело уже никакого практического значения. По расчетам, это могло произойти в марте или апреле; оказалось – в мае. Не все ли равно? Вопросы сроков его не беспокоили, не интересовал и ход сражения за Берлин, это сражение ровно ничего не могло изменить в ходе войны. К его началу война была уже давно выиграна, Берлин можно было вообще не брать

штурмом. Обойти, заблокировать наглухо, и пусть бы защитники фашистской столицы сидели там до капитуляции. Сдались бы сами, куда им было деваться! Взятие Берлина имело только политическое значение, военного значения не было никакого.

Но вот сегодня, когда под глухой рокот отсыревших барабанов падали к его ногам вражеские знамена, – сегодня он впервые, по-настоящему, ощутил вкус Победы.

И только сегодня – не двадцать первого апреля, и не первого мая, и даже не девятого – наступила разрядка. Странно, в самом деле. Полтора месяца уже, как нет войны, он знал, что ее больше нет, что она победоносно окончена, и вот только сегодня он наконец это почувствовал.

...Он встал, опять прошелся по комнате, бесшумно – как барс – ступая по толстому ковру, держа в согнутой руке погасшую, чуть теплую уже трубку. Никто не знает, чем была для него эта война. Никто, ни одна душа не знает! Все признают его верховным стратегом, в тысячах стихов и статей описано, как по ночам не гаснет свет в кремлевском кабинете, где он – все видящий, все знающий, никогда не ошибающийся, – до утра просиживает над картами фронтов, планируя стратегические операции, готовя новые и новые сокрушительные удары по противнику. И он действительно много работал по ночам, проводил долгие ночные часы в своем кабинете.

Но если бы знали, что это бывали за часы, что он порой переживал теми бесконечными ночами, если бы видели, как он метался там – наедине с картой, искромсанной стрелами немецких прорывов, наедине с портретами Суворова и Кутузова, наедине со своими мыслями, со своим страхом. Со своей яростью. Как барс в клетке.

Да, люди были правы, когда назвали его главным стратегом Великой Отечественной войны. И в то же время они ошибались: никто из них, говоря о его руководстве войной, не догадывался, что в эти слова заложен несколько иной смысл. Гораздо шире того, который вкладывали они.

Он действительно был главным стратегом этой войны. Наиглавнейшим, не просто «главным»; можно сказать – архистратигом. Каламбур, пожалуй, не из удачных, но кому из простых смертных могло бы прийти в голову то, что пришло однажды ему: цельное, всеобъемлющее представление о том, как провести эту войну с самого начала, какой характер ей придать, как использовать ее в рамках общего, генерального плана своей не военной уже, а политической стратегии – своего Великого Плана.

А ведь в первоначальном виде Великий План (созревший уже в конце двадцатых годов) вообще очень мало принимал в расчет опасность войны. Кто мог тогда всерьез принимать эту опасность? Тема агрессивного капиталистического окружения широко использовалась агитпропом, но просто как средство подхлестывания, как оправдание непомерных затрат на индустриализацию – тяжелая индустрия должна была обеспечить обороноспособность Страны Советов. На самом же деле нападать на Страну Советов было тогда просто некому. Германия, до нитки обобранная победителями, была с нами в наилучших отношениях – ведь это мы помогли ей тайком от французов и англичан восстанавливать военную мощь, учебные и исследовательские центры рейхсвера располагались на нашей территории (Гудериан, сукин сын, учился в Казани), а разговоры насчет «третьего похода Антанты» были явным вздором. После провала интервенции, какому идиоту в Англии или Франции могло бы прийти в голову сунуться еще раз? Тем более, что живы еще были упования на классовую солидарность трудящихся. Считалось, что любая замахнувшаяся на нас капиталистическая страна немедленно получит в ответ рабочие восстания в собственном тылу.

Факты – упрямая вещь. Курс на создание мощной военной промышленности был принят XIV съездом задолго до возникновения реальной угрозы нашим границам: за семь лет до того, как Гитлеру удалось оседлать Веймарскую республику, за шесть лет до «мукденского инцидента» – первой пробы сил японского милитаризма в Манчжурии. Ни с Востока, ни с Запада не было угрозы, на Западе вообще все складывалось – казалось, что складывается, –

как нельзя лучше: всеобщая стачка в Англии, уличные бои в Вене, дело явно шло к долгожданному мировому пожару. Именно этим определялись ударные темпы создания промышленности, способной в кратчайший срок вооружить Красную Армию современной техникой, – не страхом перед агрессией, а требованиями международной классовой солидарности. К тому (скорому уже, казалось) моменту, когда мировой пожар будет наконец благополучно раздут, Страна Советов должна была обладать самой могучей военной силой на континенте, способной помочь восставшим братьям по классу где бы то ни было – «от тайги до британских морей». Все только и понимали: Красная Армия есть бронированный кулак мирового пролетариата, вооруженные силы Коминтерна.

Пожалуй, какое-то время и он сам так думал. Но очень скоро появились некоторые сомнения. Довольно существенные сомнения, которые никак не удавалось побороть. Напротив, они укреплялись, порождая новые мысли; вот тогда впервые начали вырисовываться перед ним неясные пока очертания некоего плана, которому суждено было – вызрев – стать Великим.

Великий План складывался и вызревал постепенно, и на первых порах военные соображения в нем отсутствовали. Это была чисто политическая схема, возможность внешней войны учитывалась в ней лишь как элемент случайности, к тому же маловероятной. А вот необходимость создания мощной армии, оснащенной по последнему слову техники, – это он признавал вместе со всеми. Тут у него расхождений с партией не было, просто он

по-другому представлял себе будущую роль этой армии. Кронштадтское, тамбовское, воткинское восстания были еще слишком свежи в памяти, чтобы видеть в мировой буржуазии единственного потенциального врага.

Тут он был и прав, и не прав. Перспективы мировой революции становились все более туманными, это верно, но в одном коминтерновцы преуспели: так напугали капиталистов, что те со страху кинулись прикармливать любую шушера – лишь бы шушера обещала активное противодействие «красной угрозе». Угроза выглядела вполне реальной, как иначе могли понимать на Западе все происходившее в те годы у нас? Строительство военных заводов лихорадочными темпами, официально поддерживаемая деятельность ИККИ¹, «штаба мировой революции», наконец, крайне воинственные настроения общества в целом, глубоко убежденного, что не

сегодня-завтра коммунизм сметет все границы. И настроения эти никто не прятал, их выставляли напоказ, достаточно было беглого знакомства с нашей литературой тех лет, чтобы это почувствовать. «Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе», «Крепи у мира на горле пролетариата пальцы» – к этому ведь не какой-нибудь очумевший в подполье маньяк-террорист призывал, а самый популярный, самый любимый страной поэт, певец Октября. Открыто призывал, со всех подмостков, под аплодисменты и всеобщее одобрение...

Поэтому-то антикоммунистическая шушера на Западе и стала получать мощную финансовую поддержку, а среди прочих вдруг выделилась и всплыла на поверхность никому до той поры неведомая «Германская рабочая партия» господина Гитлера. Фашисты по своей сути, они для маскировки называли себя социалистами (правда, с приставкой «национал-»), но кто мог принимать их всерьез? Он их всерьез тоже не принимал, социал-демократы представлялись куда более опасным противником – предатели, ловко умевшие завоевывать дешевую популярность в рабочей среде. Поначалу ведь трудно даже было определить, против кого нацисты делают основной упор в своей пропаганде – против немецкой компартии или против англо-французских империалистов, навязавших Германии версальскую кабалу. Пожалуй, все-таки антиимпериалистическая тема звучала настойчивее, «красным» доставалось уже так, походя.

¹ Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала (Коминтерна).

Даже когда Гитлер одержал первую победу на выборах, это никого не насторожило. Потом он оказался главой государства, но первые его шаги на этом поприще были на редкость неумелы – грубая провокация с поджогом

рейхстага, провалившийся лейпцигский процесс (не было у них своего Вышинского) – все это выглядело просто фарсом.

Да, военную опасность со стороны гитлеровской Германии долго недооценивали. Он тоже недооценивал, не принимал всерьез всего этого балагана с факельными шествиями и древне-арийской символикой. Кое-что даже вызывало тайное одобрение – скажем, неприкрытый реваншизм, спешное создание нового «вермахта» –

ясно же было, против кого это направлено. Против авторов Версаля, любой дурак мог понять. Такие решительные меры в пику англо-французским империалистам следовало только приветствовать. Коминтерн тоже высказывался против версальского грабежа.

Правда, некоторую настороженность вызывал истеричный антикоммунизм Гитлера. Но это могло быть обманым маневром, чтобы усыпить бдительность Лондона и Парижа. А что ему удалось так лихо разгромить компартию – сами виноваты. Неудивительно, что их разгромили. В КПГ обстановка тогда сложилась нездоровая, слишком много было двурушников, сторонников мерзавца Мюнценберга. А другим – вроде бы честным товарищам – не надо было хлопать ушами. Бороться надо было! Хорошо, что Тельмана успели под конец шлепнуть, а то ведь сейчас, небось, претендовал бы на руководящую роль. За какие заслуги, спрашивается? За то, что в тюрьме отсиживался – пока другие боролись?

Конечно, «на публику» о военной угрозе со стороны гитлеровской Германии говорилось много, уже на 7-м конгрессе Коминтерна об этом говорилось. Но это были так – разговоры. Поскольку официально гитлеровцы объявили себя антимарксистами, полагалось в ответ объявить их злейшими врагами пролетариата, призывать к созданию антифашистского фронта, но разговоры это были пустые. Единый антифашистский фронт можно было создать только помирившись с социал-демократами, а кто бы на это пошел? Да и сами они не желали мириться, проявили всю свою предательскую сущность на Парижском совещании, созванном той же осенью (сразу после конгресса) под председательством Генриха Манна, старого либерального козла.

Впрочем, тогда вообще было как-то не до Гитлера. В стране начала осуществляться самая ответственная фаза Великого Плана – под лозунгом борьбы с оппозицией (к тому времени практически уже не существовавшей) готовилось истребление старых партийных кадров, «ленинской гвардии». Фаза эта осуществлялась без осложнений, вчерашние вожди и герои покорно, как бараны под нож, шли получать заслуженное (И воздастся каждому по делам его), но чувствовать себя победителем было рано. Предстояли еще показательные судебные процессы, всякое могло случиться. Неудивительно, что вопросам международной политики он уделял меньше внимания.

И только годом позже – летом тридцать шестого, когда готовился процесс Зиновьева и Каменева, – стало вдруг ясно, что войны с фашистской Германией не избежать.

... Он снова остановился у окна и, отведя шторы, долго смотрел на тусклое электрическое зарево над Москвой. Да, именно тогда – девять лет назад – одновременно с пониманием неизбежности войны пришла к нему гениальная (к чему скромничать?) мысль о том, как надо будет эту войну провести. Сразу пришла, мгновенно, как озарение, одной вспышкой осветив все аспекты очень непростой проблемы.

А толчком к этому, как ни смешно, послужил совсем незначительный случай. Он просматривал какой-то фильм, какую-то комедию режиссера Александрова (ему нравились эти комедии), потом вспомнил о доставленных из Берлина лентах последней немецкой кинохроники и распорядился прокрутить их.

Там, помнится, было три выпуска – минут по десять каждый. Он внимательно просмотрел все, велел прокрутить по второму разу, а на другой день затребовал сводку агентурных донесений из Германии.

Конечно, все это не было для него новостью, не впервые он и сводки читал, и кинохронику смотрел. Но на этот раз задумался – потому что вдруг как-то сопоставил все это, увидел как-то по-новому. Именно тогда, тем летом, Гитлер – сразу после расторжения Локарнского пакта и захвата демилитаризованной Рейнской зоны –

впервые показал зубы, начав прямую интервенцию в Испании; а по дипломатическим каналам шли сведения о готовящемся подписании договора между Германией и Японией, которая к тому времени уже всюю кромсала Китай, вплотную подобралась в Манчжурии к нашим границам. Было над чем задуматься!

Раньше он не особенно склонен был верить тому, что показывают геббельсовские пропагандисты, слишком хорошо знал своих собственных. Тоже такую тебе райскую жизнь изобразят, что слюнки текут. Но, по агентурным сведениям, выходило, что если господин Геббельс и привирает, то не так уж и сильно. Если верить агентурным сведениям. Гитлеру действительно удалось в ничтожно короткий срок – три с небольшим года! – осуществить в Германии серьезные социальные преобразования. Что конкретно удалось ему сделать?

Во-первых, покончить с безработицей. Хотя и за счет милитаризации промышленности, но факт остается фактом – если человек работает и исправно получает зарплату, не все ли ему равно, что выпускает его завод, трактора или танки? Наши заводы тоже выпускают танки, и рабочие этим гордятся: крепим, дескать, обороноспособность Родины. Зачем думать, что немецкие рабочие не могут испытывать той же гордости?

Во-вторых, Гитлеру удалось за короткий срок пребывания у власти оздоровить сельское хозяйство, укрепив кулацкий сектор законом о не подлежащем дроблению «наследственном крестьянском дворе»; а что именно кулацкая (по нашей терминологии) система землепользования является основой сельскохозяйственного производства, ясно всякому дураку. Германия сегодня если не роскошествует (лозунг даже такой есть: «пушки вместо масла»), то во всяком случае сыта и еще делает стратегические запасы продовольствия.

И, наконец, в-третьих: нацистам удалось претворить в жизнь ряд демагогических лозунгов о «единстве нации», заморочить голову значительной части пролетариата разного рода подачками. В берлинской кинохронике показывали, как рабочие едут в отпуск на Канарские острова. По профсоюзной линии, что ли, целый пароход выделяют для такой экскурсии, сроком на три недели. Или такие, например, кадры: обеденный перерыв на заводе, общая столовая, рабочие и инженеры кушают за одним столом. Да что инженеры – тут же сидит и господин директор, все едят одно и то же, из одного котла. Примитивная демагогия? Конечно! Но на сознание людей что действует, философские рассуждения? На сознание людей действует демагогия – и чем она примитивнее, тем сильнее.

Потом еще обширная программа жилищного строительства. Если молодой рабочий, женившись, тут же получает ключ от квартиры со всей обстановкой, включая детскую коляску, – это тоже действует. Надо ли удивляться, что Гитлер – в той же хронике – запросто общается с населением, где-то на стройке собственноручно шурует лопатой, грузит вагонетку... Ну, это вообще излюбленные фашистские штучки, горлопан Муссолини тоже обожал снаться где-нибудь на полевых работах, выставив напоказ голое толстое брюхо, с охапкой соломы на вилах. Но что эти искатели дешевой популярности могут позволить себе такое вот непосредственное общение с народом – кое о чем это ведь тоже говорит...

Да, было над чем задуматься. Раньше война рассматривалась лишь как маловероятная в ближайшем будущем случайность, он даже не принимал ее в расчет при разработке Великого Плана; теперь стала вдруг реальной угрозой, и не такой уж отдаленной. Если за три года Гитлер сумел так преобразить нищую Германию, – во что же он превратит ее лет через десять? А

что сильная и сплоченная вокруг своего «фюрера» Германия неминуемо станет агрессивной, сомневаться не приходится. Она достаточно агрессивна уже сегодня, что же будет потом?

Дело было, впрочем, не только в чисто-военном потенциале этой будущей агрессивной Германии. Красная Армия тоже времени даром не теряет, недавние маневры Киевского военного округа показали это вполне убедительно. Можно не сомневаться, что Красная Армия сумеет дать достойный отпор новоиспеченному гитлеровскому «вермахту». Но война – это ведь не только сшибка двух военных машин, это еще и поединок двух идеологий, двух политических систем. Раньше все представлялось просто: в любой будущей войне идейное превосходство нам обеспечено, так как солдат противника будет сражаться за чужие ему интересы буржуазного правительства банкиров и фабрикантов, а наш боец – за свое, кровное.

Так можно было думать первые десять послереволюционных лет. С тех пор, однако, кое-что изменилось, Великий План начал осуществляться; после сплошной коллективизации, после тридцать третьего года продолжать с прежней уверенностью полагаться на идейную стойкость бойца Красной Армии было бы опасным заблуждением.

Десять миллионов раскулаченных, семь миллионов умерших от голода – и ни одного восстания, ни одного бунта. Но значит ли это, что забыли уже, не помнят, простили? А если просто выжидают? Сколько их разбежалось тогда из вымиравших деревень – гигантские стройки поглощали всю эту мужицкую орду, любой желающий приобретал рабочую профессию, а с ней и возможность осесть потом где-нибудь в городе, затеряться, ждать своего часа... Не надо обманываться поголовным энтузиазмом, только война сможет показать истинную картину настроений советского общества.

Так оно потом и случилось на оккупированных территориях, а он уже тогда – летом тридцать шестого года – впервые это предугадал. Впервые задумался о политическом аспекте войны с Германией, с народом, за три года получившим от своего правительства больше, чем наш смог получить за два десятилетия.

Что по соотношению военных потенциалов мы в конечном счете окажемся сильнее, сомнений не вызывало. Мы можем отразить удар любой силы и, как предписывает наступательная доктрина Красной Армии, быстро перенести военные действия на территорию противника. Но что увидит наш боец, оказавшись на территории Германии? Он своими глазами увидит достижения гитлеровского режима, получит возможность сравнить их с нашими достижениями. Сравнить, взвесить, сопоставить – и сделать выводы. Хотя бы пока для себя, молча.

Удивительная получалась ситуация: предстоящая война могла оказаться тем опаснее в политическом отношении, чем успешнее для нас разворачивались бы с самого начала военные действия. Быстрая победа в такой войне могла бы стать попросту катастрофой – для советской власти и прежде всего для него, поскольку он, осуществляя свой Великий План, сам становился верховным олицетворением этой власти.

И ему стало ясно, что воевать «малой кровью и на чужой территории» нельзя ни в коем случае. Это было бы политическим самоубийством, этого надо было избежать любой ценой.

Лучше бы, конечно, вообще избежать войны; но к концу тридцать шестого года уже было понятно, что война неизбежна. Любому дураку было понятно. Испания стала первым ее сражением, в октябре появилась «Ось Берлин – Рим», месяцем позже был подписан «Антикоминтерновский пакт» между Германией и Японией. Угроза войны начинала постепенно заслонять все другие проблемы – тем более, что проблема установления единоличного контроля над партией была к тому времени практически решена.

Собственно, не такой уж головоломной была и проблема войны. Он знал в общих чертах, что надо делать, какой должна быть эта война, представлял себе весь ее сценарий. Это пришло сразу, в одну из таких бессонных ночей.

К чему сводилась главная мысль сценария? Главная мысль сводилась к тому, что война должна быть долгой и трудной, должна потребовать предельного напряжения сил и предель-

ного ожесточения. Долгая и трудная война озлобит армию и народ – но не так, как империалистическая война озлобила армию и народ Российской империи, против собственного правительства. У нас, с помощью правильно поставленной пропаганды, озлобление будет направлено против внешнего врага, против иноземного пришельца, оно отодвинет на задний план и заслонит все внутренние неурядицы.

По какому же сценарию следует провести эту войну? Первый, решающий момент – приграничное сражение должно быть проиграно. Отступить километров на двести, дать врагу проникнуть на нашу территорию; пустить его, так сказать, в наш советский огород, и чтобы он своим свиным рылом наломал в этом огороде побольше дров. Чтобы всласть там порезвился. Никаких слюнтяйских разговорчиков о «малой крови» – крови должно быть много, очень много. Чем больше, тем лучше.

Потом будет позиционный период – истощение человеческих и материальных ресурсов, длительное балансирование на грани равновесия сил. И только после этого – последняя, завершающая ударная фаза.

Словом, долгая затяжная война. Война на измор. Такая война обессилит Германию, истощит ее ресурсы, покончит с ее нынешним показным благополучием. Но главное не в этом, ресурсы Германии и так не слишком велики; главное в том, что затяжная война мучительна для обеих сторон, приносит много трудностей жителям тыла.

А трудности озлобляют. Советский народ привычен к трудностям, но он будет предельно озлоблен против врага за дополнительные трудности военного времени, довоенная жизнь будет вспоминаться людям как сплошной праздник...

Вот тогда – и только тогда – можно будет не бояться политических последствий контакта с побежденной Германией. Озлобленному солдату, ворвавшемуся наконец во вражье логово, будет не до сравнений, не до размышлений на разные ненужные темы.

Таким, с самого начала, был общий замысел – разумный, политически правильный, дальновидный. Единственным его недостатком было то, что такой план ведения войны сразу отвергли бы как раз те, кому предстояло его выполнять: военные, высшее командование Красной Армии. Не Ворошилов, Тимошенко или Буденный – эти говнюки не задумываясь выполнят все, что им прикажешь. Были, к сожалению, и другие – Тухачевский, Корк, Уборевич, много, очень много других.

А на них рассчитывать не приходилось. Более того – он был уверен, что Тухачевский и иже с ним обязательно объявят такой план войны никуда не годным, пораженческим планом. Все эти гордые своими непомерно раздутыми заслугами маршалы и комкоры, эти высокообразованные военные специалисты отличались чересчур прямолинейным, узкопрофессиональным мышлением, не способным учитывать сложную, диалектическую взаимосвязь между войной и политикой.

Чем больше он думал, тем яснее становилось, что Тухачевского придется устранить. Убрать, чтобы не помешал в самый ответственный момент. Но устранение Тухачевского было чревато далеко идущими последствиями, Тухачевский был не один, его бессмысленно было бы убрать одного – все равно остались бы действовать многие другие, мыслившие точно так же, как и сам маршал. Выходило, что всех этих гамарников и якиров надо убирать вместе.

А их слишком много было. Убрать всех вместе значило бы практически ликвидировать высшее военное руководство, обезглавить Красную Армию. Не слишком ли опасно нанести ей такой удар накануне войны? Да, известная опасность в этом была.

Но гораздо опаснее, неизмеримо более опасно было бы оставить командование в руках этих людей, дать им возможность направлять ход войны; потому что в таком случае это была бы уже совсем не его война, так хорошо продуманная. Это была бы их война – глупая, победоносная и политически-самоубийственная.

В том, что свою войну он выиграет, сомневаться не приходилось. Достаточно знать русскую историю, а он ее знал. Он сказал однажды, что царскую Россию били все кому не лень, и это действительно было так, ее в самом деле многие били. Но в то же время история свидетельствует и о другом: Россия могла проигрывать малые, локальные войны, но она не проиграла ни одной большой, всенародной войны. Если под вопрос ставилось само существование России, русские давили любого врага.

Задавили, хотя и не сразу, татар; задавили в смутное время поляков; задавили в Отечественную войну французов. Если будущую войну разыграть по правильному сценарию, гитлеровское нашествие окажется для Советского Союза куда более страшной угрозой, чем было для России нашествие Наполеона; так можно ли сомневаться, что мы выиграем эту новую Отечественную войну? Нет, сомневаться в этом было бы непозволительным поражением.

Все сводилось к тому, что без Тухачевского и иже с ним можно обойтись. В конце концов, войны выигрывают не только талантливые полководцы, войны в конечном счете выигрывает народ. Недаром марксистская теория учит, что движущей силой истории являются массы. Воевать можно не только умением, воевать можно и числом. Этой самой массой.

...Осенью того же года он вызвал однажды ночью Ежова. Момент был самый благоприятный: процесс «Объединенного центра» успешно закончился, несмотря на явный саботаж Ягоды, троцкистские изверги были изобличены и понесли заслуженное наказание. Близилось к завершению следствие по делу второй группы вредителей и шпионов. Новый процесс предполагалось провести в начале будущего года – на сей раз на скамью подсудимых должны были сесть Пятаков, Сокольников, Радек и их приспешники. НКВД готовил материал и на третью группу фашистских лакеев – Бухарина, Рыкова и других двурушников, но с ними решено было пока повременить. Как только закончится январский процесс по делу антисоветского троцкистского центра, целесообразно будет созвать пленум ЦК и со всей остротой поставить на нем вопрос о недостатках партийной работы, об идиотской беспечности некоторых товарищей, чрезмерно увлеченных нашими хозяйственными успехами и закрывающих глаза на опасность проникновения фашистско-троцкистской агентуры в ряды партии. Со всей остротой поставить вопрос о бдительности.

Уже тогда, осенью 1936 года, слово «бдительность» не сходило с газетных полос, звучало все громче и настойчивее. О бдительности он и заговорил тогда с Ежовым.

Он хорошо помнит тот разговор. Нарком, недавно принявший дела от опального Ягоды, сидел в его кремлевском кабинете – шустрый карлик с лихорадочно блестящими глазами большого животного на бледном от ночного образа жизни лице. Губы у него тоже были какие-то лихорадочные, пересохшие и в трещинках. Карлик, не отрываясь, смотрел на него своими блестящими синими глазами – преданно, как собака, и в то же время почти бессмысленно, как обезьяна. Особым умом этот недоносок не отличался.

– Послушай, Ежов, – спросил он тогда, – какого мнения ты о Тухачевском?

Нарком ответил уклончиво.

– Я полностью, – объявил этот дурак, – разделяю ваше мнение, товарищ Сталин.

– Я тебя не спрашиваю, разделяешь ты мое мнение или не разделяешь. Еще бы ты его не разделял. Я спрашиваю тебя – считаешь ли ты, что Тухачевскому и другим... лицам из его окружения... можно безусловно доверять?

– Я считаю, товарищ Сталин, что безусловно доверять нельзя почти никому, – высказался Ежов. – Особенно в свете тех вопиющих фактов, которые за последнее время вскрыли и продолжают вскрывать следственные органы. Но на Тухачевского и его сотрудников особых сигналов пока не было...

Он раскурил погасшую трубку и прошелся по кабинету, жестом приказав наркому оставаться на месте.

– Особых сигналов, значит, не было. А не особые были? Что ты называешь «не особыми» сигналами?

– Были сигналы о критических высказываниях Тухачевского в ваш адрес, товарищ Сталин. В одном разговоре он пытался свалить на вас неудачи в войне с белополяками – вроде бы в августе одна тысяча девятьсот двадцатого года вы не выполнили указание главкома о передаче Первой Конной армии в оперативное подчинение Тухачевскому. Если бы не это, он, дескать, взял бы Варшаву...

– Старая песня! Легче всего – валить вину на других, когда сам обосрался. Что еще?

– Я могу принести сводку, товарищ Сталин...

– Без сводки не можешь? Говори что знаешь. Ты – нарком, не писарь, наизусть должен знать такие вещи!

Ежов, сидя в напряженной позе, быстро облизнул пересохшие, как от сильного жара, губы.

– Еще он говорил, товарищ Сталин, будто ваши предложения от одна тысяча девятьсот тридцать первого года о численном увеличении Красной Армии на самом деле разработаны им, Тухачевским. Он, дескать, сам их разработал и подкинул вам через Триандафиллова...

– Так. Еще что?

Ежов привел еще несколько таких же «сигналов», нес какую-то собачью чушь. В конце концов, потеряв терпение, он его прервал.

– Слушай, ты что мне голову морочишь? Я его о серьезных вещах спросил, а он мне, понимаешь, бабьи сплетни пересказывает – Тухачевский сказал то, Тухачевский сказал другое! Меня не интересует, что он сказал, меня интересует – что он сделал! Что он делает! Ты не знаешь? А кто должен такие вещи знать? Плохо работают твои органы, если ты не знаешь, что делает враг народа!

– Мы подготовим материал на Тухачевского, товарищ Сталин, – поспешно заверил нарком.

– Спасибо, обрадовал. Какой материал ты на него подготовишь, идиот? Очередную липу, вроде той несуществующей гостиницы? Ты что думаешь – эти военные, они такое же трусливое говно, как все ваши ольберги и ваганяны? Против Тухачевского и его группы нужны настоящие, неопровержимые улики... Ладно, мы их получим. От фашистов получим, из Берлина.

– Я извиняюсь, не совсем вас понял, товарищ Сталин, – не сразу отозвался Ежов. – Если Тухачевский – фашистский шпион, то зачем им содействовать его провалу?

– Кто тебе сказал, что он шпион? Я тебе это сказал? Я назвал Тухачевского и его группу врагами народа – это что, обязательно значит шпионы? Тухачевский хуже, чем шпион. Шпион получит свои деньги, свои тридцать сребреников, и доволен – больше ему ничего не нужно. А Тухачевскому нужно большее! Тухачевскому нужна власть. Понимаешь? Тухачевский не о деньгах мечтает, не такой он дурак. Он мечтает стать Бонапартом. Ты знаешь, кто был Наполеон Бонапарт?

– Я читал про него, товарищ Сталин, – осторожно ответил нарком.

– Так почитай еще. Наполеон Бонапарт оседлал французскую революцию, используя свой личный престиж, свои военные успехи, достигнутые на службе революции. У него действительно были некоторые заслуги. У Тухачевского тоже были некоторые военные заслуги в прошлом, и он тоже мечтает оседлать революцию. Но оседлать революцию мы ему не позволим. Мы крепко дадим по рукам этому новоявленному бонапарту. И фашисты нам помогут. Они боятся Тухачевского. Думают, без Тухачевского и его людей наша Красная Армия окажется обезглавленной, слабой армией. Пусть думают! Сила Красной Армии не в отдельных руководителях, какими бы способными они ни были. Сила нашей Красной Армии и залог ее непобедимости – в ее единстве с народом, в ее беззаветной преданности делу великого Ленина...

Почти девять лет прошло с той ночи. Но он хорошо помнит, с каким выражением слушал его тогда Ежов, как он поддакивал, соглашался, всем видом выражая немедленную готовность действовать. А действовать ему тогда оставалось не так долго, два года каких-то. И жить тоже. Понимал ли полудурок, что вместе с судьбой Тухачевского решалась тогда и его собственная? Нет, наверное, не понимал. Думал, что можно узнать такое – и остаться в живых...

Говорят, когда за ним пришли – повел себя нехорошо, не как мужчина себя повел. Визжал, ползал на коленях. Но это было позже, в тридцать девятом году. А Тухачевского убрали в мае тридцать седьмого. Вместе с ним были ликвидированы еще семеро: Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков, Путна. Все сошло на удивление гладко – фашисты, как и следовало ожидать, не замедлили воспользоваться идеей, которую давно работавший на нас белогвардейский генерал Скоблин подсунул через Гейдриха самому Гитлеру. Да и как было не воспользоваться? Какой же дурак упустит такую возможность – накануне войны обезглавить вооруженные силы будущего противника, одним ударом вывести из строя весь высший командный состав. В Берлине изготовили документы, неопровержимо доказывающие измену Тухачевского; некий «доброжелатель Советского Союза», якобы выкрыв копии документов, переправил их в Прагу; а в Праге сам Бенеш – из чувства панславянской солидарности – поспешил ознакомить с ними нашего посла. Ничего не заподозрил, старый ишак.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.